

Достоевский о позитивной и негативной бесконечности

Для того чтобы в человеке, как молодой побег, возрастала бесконечность, нужно осознавать себя как конечное, ограниченное, мелкое, как подпольный человек. Можно ли упасть ниже подполья? А если некуда, остается только подниматься. Достоевский, открыв подпольного человека, в последующем творчестве своем прочерчивает траекторию подъема от подпольного печеночного страдальца к совершенному человеку, воплощающему на земле божественные начала.

Как конечное начинает заигрывать с бесконечным и как меняются при этом позиции повествователя? Понятно, что если это конечное — человек, то все его игры разыгрываются в царстве морали, т. е. царстве отношений людей. И вопрос приобретает еще один аспект: как гнусное и аморальное соединяется и сосуществует с Богом, т. е. со сверхморальным?¹

Чтобы осознать мораль, надо выйти за ее пределы, посмотреть на нее со стороны. Отрефлектировать. Совершенно очевидно при этом, что существует разница между рефлексией экзистенциальной, реализованной, в частности, Кьеркегором и Достоевским, и рефлексией традиционной философской.

Гегель выстраивает отношение рефлексии в рамках заданного круга: он очерчивает мыслительное пространство царства духа, выделяет в нем место для духа практического, а в нем уже находит место для практически действующего человека. Образно говоря, он строит квартиру для духа, отгородившись стенами и переборками от бесконечной действительности. И живущий в этой квартире дух свободно подчиняется тому же разуму, который выстроил и эту квартиру, и дом, и город.

Выход же к Богу, т. е. к бесконечности, происходит, по Гегелю, в религии, цель которой «состоит в том, чтобы возвысить индивида до мысли о Боге, создать его единение с Богом и уверить индивида в этом единении» [5, с. 207]. Сущность религии — любовь. Такая, при которой абсолютное

¹ Чтобы подчеркнуть наличие связи между бесконечностью и моралью достаточно сослаться на слова Смердякова, который в разговоре с Иваном говорит о том, что «коли Бога бесконечного нет, то и нет никакой добродетели, да и не надобно ее тогда вовсе» [5, с. 136].

самопожертвование, когда «я» забывает о себе. Именно любовь человека к Богу устраняет отделенность посюстороннего от представляемого как потустороннее и «означает вечную жизнь» [5, с. 207]. Единичность — зло. «Зло есть... знание своей единичности, как чего-то решающего, поскольку единичность не остается в этой абстракции, но наперекор добру усваивает содержание субъективного интереса» [1, с. 338]. Поэтому Христос, Богочеловек, почитается «не как вот этот *единичный*, а как всеобщий, как истинный человек». «Только в душе достигается действительное единение с Богом» [2, с. 208]. Таким образом, выход у Гегеля не настоящий. Любовь к абстракции сама по себе абстрактна, а не конкретна. Воскресение и вечная жизнь — только в духе, а не в реальности.

То, что все разумно расставлено в квартире духа, удобно. Но в жертву этому порядку принесена индивидуальность, субъективность — то, что делает человека самим собой, то, что отстаивает Христос в своем противостоянии Великому инквизитору. Понятно, почему так раздражался на Гегеля Кьеркегор, пытаясь понять эту сверхчеловеческую в своей самонадеянности логику с позиции психологии. Как можно любить всеобщего человека?

С точки зрения подпольного человека эта логика тоже не имеет цены. Его раздражает разум в морали. Он утверждает, что «человек, всегда и везде, кто бы он ни был, любил действовать так, как хотел, а вовсе не так, как повелевали ему разум и выгода...». Иначе говоря, разум и чувство находятся в неразрешимом противоречии друг с другом. И уже поэтому никакая система невозможна. Или свобода, или разум. Разум означает смерть личности, потому что личность теряет то, что делает ее личностью — единственность.

Конечно, Гегель знал об этих противоречиях и считал их движущими силами диалектического процесса саморазвития духа. Но он так выстраивает эти противоречия, что бесконечность оказывается такой же комнатной, как и дух. И никаких сквозняков. Только порядок. А его бесконечность — как гул моря в раковине, лежащей на комодe рядом с семью всегда шагающими, но никуда не идущими слониками.

Кьеркегор сразу распахивает и окна, и двери. Возьмем, к примеру, его книгу «Болезнь к смерти». Это книга об отчаянии. С первых страниц автор уверяет, что отчаяние неизбежно, что именно оно связывает человека с вечностью и бесконечностью, и даже если человеку кажется, что он не переживает отчаяние в данный момент, — это иллюзия. Сравнивая отчаяние с болезнью, Кьеркегор говорит, что болезнь — состояние временное. Она приходит, и от нее можно уберечься. Но «...никогда нельзя

утверждать о ком-то, что он не уберется от отчаяния. Ибо само событие, ввергающее его в отчаяние, тотчас же указывает, что вся его прежняя жизнь имела отношение к отчаянию» [11, с. 264]. Кьеркегор движется путем, диаметрально противоположным гегелевскому. Гегель обустроивает царство духа, Кьеркегор демонстрирует невозможность обустройства. Гегель начинает с общей картины, Кьеркегор начинает с «я».

Кьеркегор, анализируя «я», движется в рамках диалектических триад, но вместо снятия противоречия, как это делает Гегель, он берет его в качестве неизбежного, порожденного именно синтезом: «...Отчаяние — в нас самих; так что если бы мы не были синтезом, мы не могли бы и отчаиваться, и если бы этот синтез не получал свое оправдание от Бога уже изначально, мы также не могли бы отчаиваться» [Там же, с. 257]. И в этих абстрактных рассуждениях Кьеркегор приходит, по существу, к тому же, к чему и Достоевский, — утверждению себя именно в качестве высшего проявления человечности. Действительно, в основе отчаяния лежит стремление быть самим собой, невозможность полностью реализовать это стремление и порождает отчаяние, а все остальные виды отчаяния определяются этим. Отчаяние — наша гибель, но отчаяние и отличает нас от животных.

И еще один момент: подчинение разума воле. У Гегеля, например, переход от одной стадии развития к другой неизбежен, потому что он основан на логике абсолютной идеи. Но как только мы признаем, что воля играет более важную роль в человеческой жизни, автоматизм исчезает, и переход на другую стадию, переход к синтезу осуществляется как произвольный (значит, непредсказуемый) акт индивидуальной воли, т. е. мы имеем дело со скачком.

Эти пункты расхождения Кьеркегора с Гегелем, хотя и в несколько других выражениях, отмечает Фредерик Коплстон. Характеризуя диалектику датского мыслителя, он говорит: «Во-первых, она — процесс, посредством которого дух актуализируется в форме индивидуальности, индивидуально существующего, а не в форме всеохватного всеобщего. Во-вторых, переход от одной стадии к другой совершается не мышлением, а выбором, актом воли и в этом смысле — прыжком. Тут не идет речи о преодолении антитезы в процессе понятийного синтеза: здесь имеет место выбор между альтернативами, и этот выбор более высокой альтернативы, переход к более высокой стадии диалектики есть произвольная самореализация человека в целом» [10, с. 8]. Выбор — это выход на бесконечность. Поскольку человек реализует свое подлинное существование через выбор, он реализует его через бесконечность. «Существование есть

синтез бесконечного и конечного, и существующий индивид одновременно конечен и бесконечен» [10, с. 12]. Так отчаяние напрямую выводит нас к вечности и связывает с бесконечностью. Только здесь, на пересечении вечности и бесконечности возможно истинное бытие «я». В отличие от гегелевского «я», оно не может быть самим собой в квартире, обустроенной для него другими, будь то даже Абсолютная Идея.

Эти предварительные рассуждения помогают перейти к анализу текстов Достоевского. (Стоит заметить, что Кьеркегор, по крайней мере в одном случае, называет первый уровень существования человека «подпольным». Это хорошее подтверждение того факта, что Кьеркегор и Достоевский движутся в рамках одной логики.)

В «Записках из подполья» Достоевский делает великое художественное открытие: когда люди сочувствуют положительным благородным героям, таким, как маркиз Поза, или благородным беднякам, как Жан Вальжан, — это понятно и оправданно. А у Достоевского ничтожный человечиска встает на защиту самых дорогих писателю идей и начинает вызывать некоторое сочувствие, хотя сам не только не просит этого сочувствия, но превентивно высмеивает его и отвергает. Потому что он отстаивает достоинство иррациональной индивидуальной воли против всеобщего разума. Разум, особенно в форме социалистических идей, отгораживает личность от бесконечности, от выбора, от отчаяния и помещает ее в разумно организованный рай-муравейник, где личность должна исчезнуть в пользу коллектива, ибо она несовершенна. А если она не хочет исчезать, ее нужно заменить другой. Он стоит за свою глупую волю, а воля — это выбор, а выбор — это бесконечность. Как же он открывает для себя бесконечность, которая становится ключом ко всему остальному?

Первое совершенно ясное упоминание о бесконечности обнаруживается в следующем фрагменте: «Ведь чтоб начать действовать, нужно быть совершенно успокоенным предварительно, и чтоб сомнений уж никаких не оставалось. Ну а как я, например, себя успокою? Где у меня первоначальные причины, на которые я упрусь, где основания? Откуда я их возьму? Я упражняюсь в мышлении, а следственно, у меня всякая первоначальная причина тотчас же тащит за собою другую, еще первоначальнее, и так далее в бесконечность. Такова именно сущность всякого сознания и мышления» [6, с. 463]. Здесь образ бесконечности напоминает круг, непрерывное повторение: «у попа была собака...». Вроде бы это и не совсем чистый круг, потому что он не приходит точно к своему началу, он говорит о том, что движется вглубь. Тем не менее, несмотря на подобные утверждения подпольщика, никакого углубления

очевидно не происходит. Его мысль движется, как своеобразное гибкое сверло, которое постоянно ввинчивается, но когда доходит до твердой породы, возвращается назад. Круг, цикл каждый раз начинается и завершается его любимым «я». Результат движения — «...предмет улечувачивается, резоны испаряются, виновник не отыскивается, обида становится не обидой, а фатумом, чем-то вроде зубной боли...» [6, с. 464]. Опять и опять оказывается он с самим собой, самому себе противным и в противности этой укорененным и ценным для самого себя.

Фактически бóльшая часть первой половины книги — именно упражнения в таком повторении. Однако в конце начинают появляться прозрения другой бесконечности — отрицательной по сути, но не образующей круга. Это бесконечность потенциальная, негативная². Если рассудок — только небольшая часть личности, то хотенье — выражение ее целиком; рассудок — кусочек жизни; желание, страсть — вся жизнь. А желание есть страдание, потому что оно есть проявление воли. Подпольный зубоскал говорит в духе Шопенгауэра о том, что страдание пробуждает человеческое сознание, а само по себе страдание является началом разрушительным, негативным. «А между тем я уверен, что человек от настоящего страдания, то есть от разрушения и хаоса, никогда не откажется. Страдание — да ведь это единственная причина сознания. Я хоть и доложил вначале, что сознание, по-моему, есть величайшее для человека несчастье, но я знаю, что человек его любит и не променяет ни на какие удовлетворения. Сознание, например, бесконечно выше, чем дважды два» [6, с. 477]. Здесь парадоксальная мысль, что сознание есть отрицание рассудка, обосновывается тем, что сознание, в отличие от рассудка, принадлежит всей личности. Оно преодолевает рассудок, выводя нас в бесконечность³. (На самом деле здесь речь идет не только о социализме, но и вообще о проблеме правильно организованной жизни, основанной на естественных законах. Достоевский отстаивает позицию, что личность, формирующаяся на основе воли, личность, реализующая свободу, бесконечно превосходит любое организованное целое. «Тургенев

² Это вызывает очевидную ассоциацию с Псевдо-Дионисием Ареопагитом и его апофатикой, но, как мне представляется, здесь Достоевский движется самостоятельно и любое сходство оказывается типологическим.

³ В авторских примечаниях 1864 г. Достоевский говорит: «А вся-то штука, вся-то бесконечность христианства над социализмом в том и заключается, что христианин (идеал), все отдавая, ничего себе сам не требует». Здесь христианство превосходит социализм этически, как альтруизм превосходит эгоизм, но за этим опять же стоит критика разумного эгоизма в пользу учения, связывающего человека с бесконечным существом.

был безвольным фаталистом и видел в истории безличный детерминированный процесс. Достоевский утверждал свободу воли и могущество личности. Тургенев писал: “Есть ли Бог? Не знаю. А вот закон причинности мне известен. Дважды два — четыре”. А Достоевский с бешенством отчаяния боролся против закона необходимости и волевым актом “добывал” веру в Бога» [12, с. 381–382].)

Открытие *негативной бесконечности* позволило Достоевскому разорвать порочный круг движения от одной причины к другой, которое психологически может завершиться только шизофренией (не то чтобы он боялся говорить о ней, но это движение пустое, не дающее почвы никакому развитию и важное лишь как указание на следующий уровень и начальный подступ к нему. Негативная бесконечность уже связывает человека с другим планом бытия. Надо сказать, что умственное коловращение подпольного мыслителя остается началом движения от привычного к другому и позже. Так, в «Преступлении и наказании» его, подпольного, уничижительная по отношению к самому себе интонация прорывается несколько раз у Раскольникова. Так, он заранее радуется всему яду, который готовится вылить, потому что не хочет благоденствий, а хочет оставаться собой [9, с. 159–160]. В другом месте он говорит: «Эх, эстетическая я вошь и больше ничего... Да, я действительно вошь...» [Там же, с. 260] и т. д. Это подпольные интонации. Но уже в начале романа появляется указание на другое состояние, характеризующееся сознанием негативной бесконечности. Когда Раскольников осознает, что на убийство его толкает быт и что все, связанное с убийством живого существа, омерзительно (воспоминание о лошади, которую били по глазам), он переходит в состояние свободы — ему становится легко. «Точно нарыв на сердце его, нарывавший весь месяц, вдруг прорвался. Свобода! Свобода! Он свободен теперь от этих чар, от колдовства, обаяния, от наваждения!» [Там же, с. 60]. Это отрицательная свобода и отрицательная бесконечность. Это именно только освобождение, в нем нет никакого положительного содержания. И поэтому оно лишь указывает на возможность перехода в другое состояние, но само по себе оно в принципе не может быть устойчивым — из него можно и возвращаться в привычный круг, а можно и начинать подниматься на следующий уровень. Так, в конце сцены встречи с Лужиным Раскольников кричит: «Оставьте, оставьте меня все!.. Я никого теперь не боюсь! Прочь от меня! Я один хочу быть, один, один, один!» [Там же, с. 146]. Пустота и бесперспективность такого состояния подчеркивается образом приговоренного к смерти: «...Если бы пришлось ему жить где-нибудь на высоте, на скале, и на такой узенькой площадке, чтобы только

две ноги можно было поставить, а кругом будут пропасти, океан, вечный мрак, вечное уединение и вечная буря, — и оставаться так, стоя на аршине пространства, всю жизнь, тысячу лет, вечность, — то лучше так жить, чем сейчас умирать!» [9, с. 151]. Это освобождение от немедленной смерти, но только освобождение. Человек прикован к вечности, как Прометей к скале. Уже совершивший преступление Раскольников чувствует, что он находится не в привычном, а в каком-то ином состоянии, что он внутренне оторван от того общества, в котором еще по недоразумению находится⁴. Это амбивалентное чувство: быт — это смерть, но и преступление (в буквальном смысле как пере-ступление) за пределы быта — еще не жизнь, а только предчувствие жизни. И смерть для обычной рутинной жизни. И то и другое — одновременно и жизнь и смерть.

Выход к бесконечности и вечности — это открытие жизни, быт — это смерть при жизни, потому что он отгораживает от них. «Тут вытягивает; тут конец свету, якорь, тихое пристанище, пуп земли, трехрыбное основание мира, эссенция блинов, жирных кулебяк, вечернего самовара, тихих вздыханий и теплых кацавеек, натопленных лежанок, ну, вот точно ты умер, а в то же время и жив, обе выгоды разом!» [Там же, с. 197]. Собственно говоря, именно устремленность за пределы быта и выход на негативную бесконечность и рассматривается Раскольниковым в его статье как преступление в самом широком смысле этого слова: «Одним словом, я вывожу, что и все, не то, что великие, но и чуть-чуть из колеи выходящие люди, то есть чуть-чуть способные сказать что-нибудь новенькое, должны по природе быть непременно преступниками...» [Там же, с. 245–246].

Но поскольку эта бесконечность негативна, постольку у нее нет никакого положительного содержания, поэтому она и не дает настоящей внутренней свободы. Достоевский устами Свидригайлова (который, как и Раскольников, переступил быт) дает поразительный образ вечности как комнаты с пауками по углам. И Раскольников, который все же надеется, что пре-ступление дает в награду что-то положительное, произносит весьма странные слова: «Неужели вам ничего не представляется утешительнее и справедливее этого!» [Там же, с. 272]. Слово «справедливее» является здесь ключевым и неочевидным. Раскольников пре-ступает, выходит из быта, расстается с родными, чтобы обрести положительное, а остается в закоптелой комнатке с пауками. Это несправедливо по отношению к душевным мукам, принятым им на себя. И это ощущение несправедливости нестерпимо.

⁴ «...Опять ему вдруг стало совершенно ясно и понятно, что... никогда и ни с кем нельзя ему теперь говорить» [9, с. 216].

Выход же на *положительную бесконечность* возможен только при отрицании своего «я», которое, как закрепленная ножка циркуля, не дает другой убежать вдаль, а заставляет бегать вокруг и вокруг. Этот выход показывает ему Соня в церкви во время похорон Катерины Ивановны, когда берет его за руки и преклоняет голову ему на плечо. «Это... была какая-то бесконечность собственного уничтожения» [9, с. 416]. Преодолеть ужас негативной бесконечности можно только с помощью любви, потому что только через любовь — отрицание своего «я» — открывается Бог как положительная бесконечность. Это преодоление у Раскольникова и происходит не через раскаяние, которого он не ощущает, а через любовь. Сначала любовь, потом Бог. И здесь уже не может быть никакой комнаты с пауками, потому что здесь открытая миру и единая с миром бесконечная жизнь: «Их воскресила любовь, сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого» [Там же, с. 518]. Причем это любовь конкретная, направленная на конкретного человека, в отличие от гегелевской абстрактной любви.

Осознание быта как смерти при жизни понятно, особенно если принять во внимание, что быт есть рутина — бесконечное повторение одного и того же. Но одно дело — просто жить, не думая об этом, другое — начать рефлексировать по поводу быта, выходя на уровень осознания. Нужно понять его как разумное и увидеть то, что он обезличивает уникальное человеческое существо, т. е. то, что он убивает человека. Социализм — быт, возведенный в идеал. Быт, ставший мечтой. Своеобразная некрофилия. Поэтому так и борется против него Достоевский. Он показывает другой план бытия, который делает человеческую жизнь собственно человеческой, который принимает человеческую иррациональность и, следовательно, единственность.

То, что религия есть осознанная связь человека с бесконечным, очевидно. Тем не менее каждый открывает это для себя по-разному. Достоевский открывает это как величайший парадокс, как существование невозможного в рамках возможного, данного. Само размышление об этом как о чуде (т. е. удивление) есть начало философии согласно Аристотелю. Привычное Достоевский начинает видеть как необычное: «И стал я разглядывать и вдруг увидел какие-то странные лица. Всё это были странные чудные, фигуры, вполне прозаические, вовсе не Дон Карлосы и Позы, а вполне титулярные советники и в то же время как будто какие-то фантастические титулярные советники. Кто-то гримасничал передо мною, спрятавшись за всю эту фантастическую толпу, и передергивал какие-то нитки, пружинки, и куколки двигались, а он хохотал и всё хохотал...»

[8, с. 487]. Люди исчезли, остались марионетки. Парадокс в том, что эта фантастическая реальность начинает управлять видимой. Чтобы восстановить человеческое, нужно выйти в другой мир, в другой план бытия и начать управлять собственной жизнью. Первый этап — осознание своей зависимости и конечности, а следовательно, прикосновение к бесконечному хотя бы через повторение. А другой план — это бесконечность, потому что она связана с выбором. Причем — и Достоевский настаивает на этом — выбором иррациональным. Сначала негативная бесконечность, а потом позитивная.

Раскольников проходит те этапы, которые намечает своей парадоксальной логикой и убогой жизнью подпольный мыслитель. Но, в отличие от подпольного философа, Раскольников своим страданием заслуживает того, чтобы прикоснуться к позитивной бесконечности.

Князю Мышкину первый уровень уже не нужен, и в нем нет ни грамма быта, мещанства. С точки зрения бесконечности он, в противоположность Раскольникову, не поднимается ко второму уровню, а опускается на него с третьего. В частности, благодаря ненормальности, эпилептическим припадкам: «... в эпилептическом состоянии его была одна степень почти пред самым припадком (если только припадок приходил наяву), когда вдруг, среди грусти, душевного мрака, давления, мгновениями как бы воспламенялся его мозг, и с необыкновенным порывом напрягались разом все жизненные силы его. Ощущение жизни, самосознания почти удесятерилось в эти мгновения, продолжавшиеся как молния. Ум, сердце озарялись необыкновенным светом; все волнения, все сомнения его, все беспокойства как бы умиротворялись разом, разрешались в какое-то высшее спокойствие, полное ясней, гармоничной радости и надежды, полное разума и окончательной причины. Но эти моменты, эти проблески были еще только предчувствием той окончательной секунды (никогда не более секунды), с которой начинался самый припадок. Эта секунда была, конечно, невыносима. ... В том же, что это действительно “красота и молитва”, что это действительно “высший синтез жизни”, в этом он сомневаться не мог, да и сомнений не мог допустить» [7, с. 227–228]⁵. Это состояние может быть охарактеризовано через греческий термин «пле-

⁵ Про это же состояние говорит Кириллов в «Бесах» в разговоре с Шатовым: «Бывают ли с вами минуты вечной гармонии?.. Есть секунды, их всего зараз проходит пять или шесть, и вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии, совершенно достигнутой. Это — не земное, я не про то, что это небесное, а про то, что человек в земном виде не может перенести. Надо переменить физически или умереть. Это чувство ясное и неоспоримое. Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг говорите: “Да, это правда”» [3, с. 550].

рома» — полнота, божественная полнота, единство всех эонов, в понимании гностиков⁶.

В князе живет это чувство причастности к божественному миру, и он страдает от того, что не может полностью уйти туда. Он хочет приникнуть к его бесконечной полноте. Вот его воспоминание о первом годе жизни в швейцарской лечебнице: «Перед ним было блестящее небо, внизу озеро, кругом горизонт светлый и бесконечный, которому конца-края нет. Он долго смотрел и терзался. Ему вспомнилось теперь, как простирал он руки свои в эту светлую, бесконечную синеву и плакал. Мучило его, что всему этому он совсем чужой. Что же это за пир, что ж это за всегдашний великий праздник, которому нет конца и к которому тянет его давно, всегда, с самого детства, и к которому он никак не может пристать» [7, с. 425]. И дальше он говорит о гармонии мира, где счастлива каждая мушка и каждая травинка: «И у всего свой путь, и все знает свой путь, с песнью отходит и с песнью приходит...» [Там же, с. 426]. Этот мир бесконечен, но выбор для каждого существа прост и понятен и не мучителен, как в случае негативной бесконечности. Живое существо настолько гармонично вписано в окружающую жизнь, что как оно не может ограничить свободу другого, так и его свободу не могут ограничить⁷.

Сверхъестественного бесконечного положительного мира можно коснуться во сне. «Почему тоже, пробудясь от сна и совершенно уже войдя в действительность, вы чувствуете почти каждый раз, а иногда с необыкновенною силою впечатления, что вы оставляете вместе со сном что-то для вас неразгаданное? Вы усмехаетесь нелепости вашего сна и чувствуете в то же время, что в сплетении этих нелепостей заключается какая-то мысль, но мысль уже действительная, нечто принадлежащее к вашей настоящей жизни, нечто существующее и всегда существовавшее в вашем сердце...» [Там же, с. 454–455]. Причем — и это принципиально — понятие полноты подразумевает вечность и бессмертие, потому

⁶ В. Соловьев пишет в статье, посвященной мандеям (осколку одной из гностических сект, пережившему почти два тысячелетия), что они так учили о причастности отдельных душ высшей полноте бытия: «Начальные зоны называются также первая жизнь, вторая жизнь, третья жизнь. Человеческие души суть эманации первой жизни, плененные тьмой материального бытия. Для избавления их небесные зоны вселяются в избранных, каковы в особенности Сиф (Ситиль) и Иоанн Креститель (Яхья), установивший религиозные омовения и погружения, как символ очищения душ в небесном Иордане» [13]. Эта классификация жизней удивительно напоминает те уровни бытия, о которых идет речь в настоящей статье.

⁷ Это напоминает одно из определений коммунизма как такого состояния, когда свобода каждого является условием свободы всех.

что нельзя из этого мира исключить ничего. Все необходимо для настоящего бытия мира.

Эта бесконечно счастливая и полная жизнь обобщается Достоевским в положительном понятии красоты. Уже в «Идиоте» он определяет красоту как нечто невыносимое (т. е. принадлежащее другому миру) — князь Мышкин рассматривает портрет Настасьи Филипповны: «Это необыкновенное по своей красоте и еще по чему-то лицо сильнее еще поразило его теперь. ...Эта ослепляющая красота была даже невыносима, красота бледного лица, чуть не впалых щек и горевших глаз; странная красота!» И потом комментарий Аделаиды: «Такая красота — сила... с этакою красотой можно мир перевернуть!» [7, с. 83, 84]. И позже следует сцена с Аглаей и др., где обсуждается стихотворение «Жил на свете рыцарь бедный...». В этом стихотворении есть строки «Он имел одно виденье, / Непостижное уму...» [Там же, с. 253]. Он служит чистой красоте, т. е. тому, что находится за пределами внешней реальности.

В «Бесах» эта мысль получает более полное развитие. Степан Трофимович Верховенский говорит то, что становится потом в «Легенде о Великом инквизиторе» главным: «А я объявляю, что Шекспир и Рафаэль выше освобождения крестьян, выше народности, выше социализма, выше юного поколения, выше химии, выше почти всего человечества, ибо они уже плод, настоящий плод всего человечества, и, может быть, высший плод, какой только может быть! Форма красоты уже достигнута: без достижения которой я, может, и жить-то не соглашусь... Без хлеба можно прожить человечеству, без одной только красоты невозможно, ибо совсем нечего будет делать на свете! Вся тайна тут! Вся история тут!» [3, с. 453–454].

Красота — это не разум, а чувство. Поэтому она сопрягается с любовью, которая и обеспечивает единство прекрасного божественного мира.

Что выше — сердце или разум? Степан Трофимович перед смертью говорит: «Мое бессмертие... уже потому необходимо, что Бог не захочет сделать неправды и погасить огонь, раз возгоревшейся к нему любви в моем сердце. И что дороже любви? Любовь выше бытия, любовь — венец бытия и как же возможно, чтобы бытие было ей не подклонно? Если я полюбил Его и обрадовался любви моей, возможно ли, чтобы Он погасил и меня и радость мою и обратил нас в нуль? Если есть Бог, то и я бессмертен!» [Там же, с. 618].

И затем он говорит о том, что положительная безмерность, бесконечность необходима человеку: «Весь закон бытия человеческого лишь в том, чтобы человек всегда мог преклониться пред безмерно великим.

Если лишить людей безмерно великого, то не станут они жить и умрут в отчаянии. Безмерное и бесконечное так же необходимо человеку, как и та малая планета, на которой он обитает» [3, с. 619–620].

И наиболее яркое описание положительной бесконечности — в главе «Кана Галилейская» «Братьев Карамазовых».

Стены раздвигаются, и все оказываются в одном времени — на вечном пиру с Христом. Вот оно, обожение. «Страшен величием перед нами, ужасен высотой своею, но милостив бесконечно, нам из любви уподобился и веселится с нами, воду в вино превращает, чтобы не пресекалась радость гостей, новых гостей ждет, новых беспрерывно зовет и уже на веки веков» [4, с. 405]. Сначала исчезает время, потом пространство. Алеша выходит из кельи: «Полная восторгом душа его жаждала свободы, места, широты. Над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих сияющих звезд. С зенита до горизонта двоился еще неясный Млечный Путь. <...> Тишина земная как бы сливалась с небесною...» [Там же]. Звезды сияют ему из бездны, из бесконечности, но все они здесь, рядом. Он плачет и целует землю. «...он плакал в восторге своем даже и об этих звездах, которые сияли ему из бездны, и “не стыдился иступления сего”. Как будто нити от всех этих бесчисленных миров Божиих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала, “прикасаюсь мирам иным”. Простить хотелось ему всех и за все и просить прощения о! не себе, а за всех, за всё и за вся...» [Там же, с. 405–406].

Алеша наяву пьет сок тех плодов, которые были посажены, чтобы человек не забывал о бесконечности. Об этом и говорил старец Зосима. «Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи с миром иным, с миром горним и высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных. <...> Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле и возрастил сад свой, и возшло все, что могло взойти, но возвращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным; если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, то умирает и возвращенное в тебе» [Там же, с. 360]. Если прикосновение к негативной бесконечности возможно только в мире разума (отрицание не дается чувству, разве что только как ощущение пустоты), то положительная бесконечность ощущается как восторг переживания связи со всем миром через любовь и красоту. Здесь невозможно сочувствие, это каждый должен, если он способен, пережить сам.

В противоположность Алеше Иван переживает ужас принятой в душу бесконечности первого рода — бесконечности повторения. Черт

говорит ему: «...Я, например, прямо и просто требую себе уничтожения. Нет, живи, говорят, потому что без тебя ничего не будет. Если бы на земле было все благоразумно, то ничего бы и не произошло. Без тебя не будет никаких происшествий, а надо, чтобы были происшествия. Вот и служу скрепя сердце, чтобы были происшествия, и творю неразумное по приказу. Люди принимают всю эту комедию за нечто серьезное, даже при всем своем бесспорном уме. В этом их и трагедия. Ну и страдают, конечно, но... все же зато живут, живут реально, не фантастически; ибо страдание-то и есть жизнь. Без страдания какое было бы в ней удовольствие — все обратилось бы в один бесконечный молебен: оно свято, но скучновато» [5, с. 147–148]. И чуть дальше о вечности как о постоянном повторении: «Да ведь теперешняя земля может сама-то миллиард раз повторяться; ну, отживала, леденела, трескалась, рассыпалась, разлагалась на составные начала, опять вода, яже бе над твердию, потом опять комета, опять солнце, опять из солнца земля, — ведь это развитие может уже бесконечно раз повторяться, и все в одном и том же виде, до черточки. Скучища неприличнейшая...» [Там же, с. 150]. Если нет выхода хотя бы в отрицание, в негативную бесконечность, саму по себе пустую, но разрывающую круг, — коловращение становится перманентным безнадёжным умиранием.

Итак, выход на предельные основания человеческого бытия у Достоевского происходит, в частности, через осознание бесконечности. Это позволяет ему построить повествование таким образом, чтобы переходить с одного уровня рефлексии на другой, демонстрируя эволюцию душевной жизни. Сначала быт осознается как засасывающий омут, который ведет к смерти при жизни, и открывается ужас потери личности, который заставляет подпольного мизантропа протестовать против некрофилии социализма и разума вообще. Утверждение в аморальности через осознание бесконечного повторения позволяет ему обнаружить свое «я» и приоткрыть дверь в другую бесконечность — негативную. Именно негативная бесконечность, отрицая (по определению) существующее, связывает человека с другим миром. А пребывание в этом другом мире позволяет открыть бесконечность положительную, которой в принципе быть не может, но которая приоткрывается через невозможную на земле красоту и любовь.

1. Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа [Репринт. воспроизв. изд. 1959 г.] / вступ. ст. К. А. Сергеева и Я. А. Слина. СПб., 1992. [Слово о сущем].

2. Гегель Г. В. Ф. *Философская пропедевтика // Работы разных лет : в 2 т. М., 1971. Т. 2. С. 7–209.*
3. *Достоевский Ф. М. Бесы // Собр. соч. : в 15 т. Л., 1990. Т. 7.*
4. *Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Там же. 1991. Т. 9.*
5. *Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Там же. Т. 10.*
6. *Достоевский Ф. М. Записки из подполья // Там же. 1989. Т. 4.*
7. *Достоевский Ф. М. Идиот // Там же. Т. 6.*
8. *Достоевский Ф. М. Петербургские сновидения в стихах и прозе // Там же. 1988. Т. 3.*
9. *Достоевский Ф. М. Преступление и наказание // Там же. 1989. Т. 5.*
10. *Коплстон Ф. Кьеркегор [Электрон. ресурс] // Коплстон Ф. От Фихте до Ницше / пер. с англ., вступ. ст. и примеч. д. ф. н. В. В. Васильева. М., 2004. URL: http://www.krotov.info/libr_min/k/korolk/kopls_09.html*
11. *Кьеркегор С. Болезнь к смерти // Кьеркегор С. Страх и трепет. М., 1993. С. 249–350.*
12. *Мочульский К. В. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М., 1995.*
13. *Соловьев В. Мандеи [Электрон. ресурс] // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. URL: <http://gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedia-dictionary/063/63863.htm>*

М. В. Загидуллина

г. Челябинск

Преодоление Достоевского: есть ли у мировой литературы шанс?

Вопрос о преодолении одного гения другим в постоянной (и неустанной) борьбе «отцов и детей» подробно рассмотрен Х. Блумом [1]. В оригинальной концепции «страха влияния» этот исследователь предлагает универсальную модель, по которой подражание великому неизбежно сменяется творческим преодолением и «победой» над этим подражанием. Между тем примеры, которые приводит Блум, с трудом поддаются экстраполяции на другие художественные тексты; иными словами, теория оказывается весьма и весьма уязвимой. Но в то же время несогласие с этой теорией провоцирует вопрос: а есть ли шансы у последователей победить предшественников, которых восхищенное человечество уже